

Фактическое подчинение ведомства новой власти произошло в конце декабря 1917 — начале января 1918 г. При участии делегата от служащих центральных установлений бывшего МИДв удалось сформулировать условия, при которых могла продолжаться их деятельность. 29 декабря они были подписаны Карелиным и Флаксерманом. 2 января 1918 г. Батюшкова силой отстранили от руководства государственными театрами. Наконец, 4 января постановлением по НКИР была упразднена Канцелярия бывшего МИДв¹³². Остальные «установления» Комиссариата перешли в ведение Народного комиссариата имуществ Республики.

Таким образом, возникший 8 марта 1917 г. Комиссариат Временного правительства над бывшим Министерством двора до конца оставался уникальным государственным учреждением, так и не получившим какого-либо определённого статуса. Ни весенние оживлённые дискуссии о создании «Министерства искусств», ни бюрократические проекты, без всякой огласки составлявшиеся осенью, не изменили его временного, переходного характера.

¹³² Там же, оп. 66, д. 611, л. 45; ЦГАЛИ СПб., ф. 29, оп. 1, д. 74, л. 1–2; *Бертенсон С.Л.* Вокруг искусства. Холливуд, 1957. С. 242–243.

Братание идеи со штыком. Политико-культурные смыслы Великой российской революции

Татьяна Филиппова

Marriage of an idea with a bayonet: Political and cultural meanings of the Great Russian Revolution

*Tatiana Filippova (Institute of Russian History and Institute of Oriental Studies,
Russian Academy of Sciences, Moscow)*

Именно так, «братанием идеи со штыком», определял культурный смысл революций западный исследователь Л. Питер, подчёркивая тем самым парадоксальность и драматизм момента — готовность революционного духа к самоутверждению ценою насилия над плотью. Но можно ли говорить о культурных смыслах революции, на деле попирающей гуманистические основания человеческой культуры как таковой?

Главную ценностную коллизию Великой российской революции 1917 г. можно увидеть как взаимную ответственность культуры перед обществом и общества перед культурой в условиях краха прежних политических,

нравственных, идейных, эстетических ориентиров и ускоренного формирования новых. Понятие *политической культуры* — при всей его полемичности и неоднозначности — представляется ключевым для понимания дихотомии момента: культура в революции, революция в культуре. В этом смысле важно определить, в какой степени сама политическая культура (или *культуры*) интегрировала характеристики культурного пространства, в котором непосредственно проявляла себя революционная реальность эпохи.

«Смыслы открываются завтра», — любил повторять философ-постструктуралист Ж. Лакан. Постараемся наметить некоторые «вчерашние» смыслы Великой российской революции, не потерявшие значения и сегодня.

Преимственность или разрыв? Множественность трактовок

В самом начале 1917 г. А. Аверченко написал небольшой рассказик «Добрые калифорнийские нравы». В нём — отчаянная мечта типичного российского обывателя, измученного повседневными трудностями военного времени и бесправием перед лицом официальной власти, вороватых торговцев, хамовой obsługi, бессердечных банкиров...

...И чудится обывателю — словно он в Новом Свете! — в клубах пыли скачут по улицам российской столицы «несколько всадников с мрачными лицами» — представители «Комитета общественной безопасности». И вот уже у дверей бакалейной лавки булочнику объявляют суровый, но справедливый приговор — за непропечённый хлеб, проданный на « $1\frac{1}{2}$ копейки более против таксы». «Пара пистолетов и тонкая волосяная верёвка, перекинута через сук ближайшего дерева», быстро восстанавливают социальную справедливость. То же происходит и с ненавистным извозчиком, потребовавшим с «седока рубль за конец с Литейного театра в Троицкий». А потом приходит черёд и выжиги-банкира. В ответ на его отчаянный вопль: «Вы не смеете меня брать, нет такого закона», — предводитель нагнулся с взмыленного коня и заглянул прямо в глаза банкиру. «Нет, есть такой закон, холодно сказал он. Калифорнийский закон, закон Линча!»¹.

Остроумнейший человек своей эпохи, писатель-сатирик точно выразил психологический настрой значительной части российского общества накануне революции. Обострённое (и оскорблённое!) чувство справедливости перед лицом бед и лишений, жажда мести опостылевшему режиму Романовых, предвкушение воздаяния всему укладу прежней жизни сплелись в болезненный клубок эмоций, настроений и ожиданий, получив в тот исторический момент редкую возможность — напрямую воздействовать на сферу политического. Десятилетия глубоких академических штудий и напряжённых общественных поисков формулы «новой гражданственности», «подлинного законопорядка», «либерального правосознания», трудный опыт подготовки реформ для общества и общества к реформам — вся мучительно долгая работа над эволюционным преобразованием России будет сметена стремительным прорывом архаической идеи *возмездия* прежнему миру — здесь и сейчас. Пройдёт немного времени, и уцелевшие остатки «старого общества» придут в ужас от того, чем на деле обернётся «революционная законность», с быстротой и неумолимостью суда Линча прокладывавшая дорогу новому «порядку» по трупам реальных и мнимых противников.

¹ *Аверченко А.* Караси и шуки (Рассказы последнего дня). Пг., 1917. С. 67–68.

И тогда уже не деморализованная революционной реальностью интеллигенция, а «широкие массы трудящихся» получают свой шанс «восстановить историческую справедливость» — в меру собственного разума или неразумия. Деграция самого дискурса «справедливости» до уровня ветхозаветного «око за око» станет одним из самых наглядных явлений революционной политической культуры, захватывавшей всё новые социальные и этнические слои. До тех пор, пока власть большевиков не найдёт путей укрощения стихии масс в новых формах организованного, государственного насилия.

Разговор о терминах в применении к понятию «политическая культура» — не формальная дань академизму, а попытка обозначить познавательную рамку объекта исследовательского интереса. Это понятие, имея в современной науке множество трактовок, возвращает к «человеческому измерению» политического, подразумевая субъективное восприятие людьми политических явлений и событий, их реагирование действием (или бездействием) на важнейшие вызовы времени².

Современное (наиболее интегральное, признанное в мировой политологии и политической философии XX–XXI вв.) понимание политической культуры восходит к классическим определениям американских исследователей Г. Алмонда и С. Вербы, сделавших в 1960-х гг. вывод о том, что каждая политическая система покоится на своеобразной структуре ориентаций относительно политического действия. Сама же политическая культура — есть только проявление того, как люди воспринимают политику и интерпретируют увиденное, а потому непременно включает поведенческие ценности и стереотипные образцы³. Иными словами, если согласиться с максимой, что «политика — искусство возможного», то политическую культуру можно интерпретировать как стиль этого искусства. Вот почему трактовки и оценки характера той или иной политической культуры находятся вне определений «развитая» — «неразвитая», лишь отсылая к историческому своеобразию, «возрасту», стадийности и преемственности (или разрыву) в транслировании тех или иных её черт.

Сказанное особенно важно учитывать, обращаясь к российскому культурному ландшафту 1917 г., ставшему пространством небывалых революционных перемен. Опыт последующих десятилетий научного освоения политико-культурной тематики подтвердил справедливость мнения: политическая культура не означает степень «окультуривания» общества по мере продвижения его по пути цивилизации и в этом смысле не сводима к просвещенческой линии. Речь идёт в каждом случае о выявлении особого характера актуального социопсихического, интеллектуального, административного, военно-политического и прочего реагирования на изменение условий существования общества.

² Термин «политическая культура» был впервые введён в оборот немецким мыслителем И. Гердером (1744–1803) в связи с анализом истории еврейского народа: данное словосочетание употреблялось в контексте специфических особенностей богоизбранного народа, не позволивших создать ему собственную государственность. Однако в рамках данной проблематики основной для Гердера стала идея «народного духа» (*Volksgeist* — нем.), лишь отчасти соответствующая современным смыслам понятия «политическая культура» (*Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества*. М., 1997. С. 339, 368).

³ *Almond G., Verba S. The Civic Culture; Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, 1963; *Алмонд Г., Верба С.* Буржуазные исследования политики, политической культуры и политических систем. М., 1985; *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура и стабильность демократии // *Политические исследования*. 1992. № 4. С. 117–134.

Четверть века назад, в самом начале горбачёвской эпохи, среди историков и политологов ведущих западных университетов развернулась дискуссия на тему политико-культурной идентичности Руси—России—СССР. Сутью её был спор на тему: существует ли некий неизменный генный код, свойственный российской политической культуре, постоянно воспроизводящий её историческое своеобразие вопреки революционным сломам? Или же в случае с Россией имеет место периодический разрыв преемственности, а следовательно, политическая культура феодальной Руси, императорской России и Советского государства — явления принципиально разного порядка?

«Застрельщиком» дискуссии стал историк-медиевист Э. Киннан, выступивший в 1986 г. на страницах журнала «Russian Review» с яркой интеллектуальной провокацией⁴. Суть его тезиса сводилась к утверждению, что политическая культура Руси—России—СССР отличается удивительным постоянством. Её главные составляющие — принципиальная монологичность и функциональная «закрытость» от внешнего мира. В практике государственного менеджмента это означает, что (вне зависимости от политического режима и социального строя) власть не нуждается в диалоге с обществом. Она общается с ним в режиме монолога, не ищет «обратной связи» и допускает для внешнего пользования (общения с соседями) лишь тот образ страны и государства, который сама создаёт и продвигает вовне. Это политическая культура-интроверт, закрытая, «молчаливая» система («silent Muscovy») тем и сильна, ибо любые внешние изменения способна поставить себе на службу, дабы воспроизводить себя, придерживаясь неизменного типа реагирования на вызов времени.

Если учесть, что эта статья появилась в самом начале «горбимании» на Западе, то становится очевидным её политический подтекст: не стоит ждать от Советов ничего принципиально нового. Обновлённый фасад по привычке закамуфлирует ту же архаичную конструкцию авторитарной закрытости, а значит, гарантирует торжество Традиции над Современностью.

Бурное несогласие с этими тезисами высказали практически все участники дискуссии, длившейся на страницах «Russian Review» более двух лет⁵. Причём позицией Киннана остались недовольны как «оптимисты», так и «пессимисты», т.е. и те, кто верил в способность Советского Союза осуществить либеральные реформы, и те, кто относился к подобной перспективе со скепсисом. Они подчёркивали, что при внешних признаках неизменной авторитарности государственной власти в России разные периоды её исторического развития имели свою специфику. Соотношение элементов демократии, гражданственности, сословного представительства и правосознания в общем поле государственного диктата было весьма подвижным и менялось в зависимости от вектора государственного целеполагания, степени ориентации на Запад, энергии мобилизационных рывков, личностных черт глав государства и их окружения, степени активности масс и проч.

Однако сам итог дискуссии оказался неожиданным для её участников. Выяснилось, что гуманитарии из США — страны, где на протяжении XX в. содержание понятия «политическая культура» являлось предметом углублённых научных штудий, не способны точно сформулировать параметры политико-культурного подхода к России на разных этапах её истории. Само явление (и объект исследования) почти невозможно было подвергнуть социологическому анализу

⁴ Russian political folkways // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 2. P. 115–181.

⁵ См.: «The Silent Muscovy». The Roots of Russian Traditional Political Culture // Ibid. 1987. Vol. 46. № 2.

с помощью каких-либо формализующих критериев. Простая же описательность сводила всю проблему к банальностям на уровне «загадочной русской души» или «империи зла». Бурное развитие политических событий в последующие годы обеспечило обильный и противоречивый материал для исследователей, но, как представляется, придало ещё бóльшую неоднозначность проблемам выяснения «генного кода», «преемственности» и «разрыва» в политической культуре России на сломе эпох.

Не удивительно, что в последние годы в центр внимания западных исследователей снова попали политико-культурные сюжеты, связанные в том числе с тематикой 1917 г. как ключевого момента для фиксации своеобразия российского исторического процесса⁶.

Коллективный труд отечественных и зарубежных историков, посвящённый культурной проблематике в рамках масштабного международного проекта о «Великой войне и Великой революции в России», наглядно характеризует современное состояние изученности политико-культурной реальности революции как пространства фрагментированного, но яркого и насыщенного, всё ещё ожидающего анализа и обобщения⁷.

Не менее показательным представляется и переиздание (уточнённое и дополненное) в России «Критического словаря Русской революции: 1914–1921», закономерно отразившего объёмное, внутренне противоречивое, а потому полемичное восприятие в мировой исторической науке культурных смыслов 1917 г.⁸

Впрочем, о сложности данной проблематики в целом, а также о том, что типы политической культуры (культур) — это не «хорошо» и не «плохо», ибо оценка их требует соотнесения с определённой исторической контекстуальностью, догадывались в России уже в начале XX в. Причём не только философы и историки, но и журналисты. О многозначности понимания культуры, в том числе и политической, свидетельствует популярная тогда злая и самокритичная шутка, бытовавшая в предвоенной печати. На вокзале в Берлине таможенник интересуется у российского студента, мол, зачем тот едет в Европу. И тот отвечает: «культуры» изучать — Англии, Франции, Германии. На аналогичный вопрос, заданный приехавшим в Россию европейским студентам — англичанину, французу и немцу, уже петербургский таможенник получает ответ: «культуры» изучать — холеры, тифа, оспы⁹...

Не используя, как правило, самого термина, общественные деятели и политические мыслители России обосновывали свои размышления о *желательности* перемен и *готовности* масс к ним именно соображениями политико-культурного порядка¹⁰. Здесь-то и начинаются трудности.

Утвердившееся в современной науке разделение политической культуры на типы предполагает наличие определённых векторов в системе координат их бытования: по исторической «вертикали» — архаическая, патриархальная,

⁶ См., например: *Steinberg M. Voices of Revolution*. New Haven, 2001; *Russia and Western Civilization. Cultural and Historical Encounters*. N.Y.; L., 2003; *Rendle M. The Symbolic Revolution // Revolutionary Russia*. 2005. № 1; *Heretz L. Russia on the Eve of Modernity: Popular Religion and Traditional Culture Under the Last Tsar*. Cambridge, 2008; *Smish D. Former People. The Final of the Russian Aristocracy*. N.Y., 2012.

⁷ См.: *Russian Culture in War and Revolution, 1914–22*. В. 2. Bloomington, 2014.

⁸ Критический словарь Русской революции: 1914–1921 / Сост. Э. Акто́н, У.Г. Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб., 2014.

⁹ Новый Сатирикон. 1913. № 2. С. 6.

¹⁰ *Шелохаев В.В. Либеральный проект: цена и ценность // Вестник актуальных прогнозов. Россия: Третье тысячелетие*. 2004. № 12. С. 78–79.

подданническая, активистская, тоталитарная, культура гражданского участия и т.д., по идейной «горизонтали» — демократическая, консервативная, либеральная и т.д. Эта типология применима в какой-то мере и к России, но она не всегда функциональна, ибо не учитывает такую особенность, как синхронное сосуществование в бытии российского социума стадияльно разных политико-культурных типов. Соответственно, и осмысление революционных событий в России, продолжавшей в начале XX столетия привычно существовать в разных политических временах (от патриархальной деревни до модерна городской жизни), происходило в формате стадияльно разных политических культур, параллельно — и кризисно! — сосуществовавших. Конфликтное наложение соответствующих этим культурам идейных ориентиров, реакций, практик и самочувствий способно многое объяснить в феномене русской революции.

Причины такого своеобразия — холизм традиционного общества, разрыв культуры «верхов» и «низов», различие «исторических возрастов» у множества этносов, населяющих страну, неодинаковые темпы модернизации отраслей экономики и социальной жизни, многообразное, противоречивое содержание «депо» исторической памяти народа и конфликтность культурных ассоциаций у разных слоёв общества. Все эти факторы опасно накапливались по мере ускорения исторического времени, что не могло не спровоцировать кумулятивный эффект острейшего кризиса. Одним из наиболее ярких его проявлений и стала Великая российская революция.

В применении к событиям 1917 г. политико-культурная оценка российской исторической специфики стала в последние годы объектом интересных дискуссий (явных и подспудных) в отечественной и мировой исторической науке, что отразилось в ряде ярких публикаций. В настоящий момент в центре полемики находится вопрос о приоритетности познавательных стратегий применительно к политической культуре революционного времени — обращение к «символьному» и «ритуалистическому» коду новой реальности¹¹; внимание к её «человеческой», «низовой» повседневности в психоисторическом измерении¹²; подход к анализу политико-культурных характеристик революции, исходя из нового прочтения самой природы институциональных, властных и общественно-политических явлений¹³. Подобная множественность исследовательских «оптик» видится явлением продуктивным и подчёркивает важную роль политико-культурной тематики в общем потоке исследований революционной темы.

¹¹ См.: *Уортман Р.С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. М., 2004; *Ямпольский М.* Революция как событие смысла // Антропология революции. Сборник статей. М., 2009; *Колоницкий Б.И.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2012; *Колчинский Д.В.* Формы самовыражения массовой политической культуры в 1917 г. (по материалам Тамбовской губернии) // Вестник Тамбовского государственного университета. 2015. Вып. 3(143).

¹² См.: *Ширинянец А.А.* Вне власти и народа: Политическая культура интеллигенции России XIX–XX века. М., 2002; *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010; *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. Россия, 1914–1918. М., 2015.

¹³ См., например: *Шелохаев В.В.* Либеральная модель переустройства России. М., 1996; *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск, 1998; *Ахиезер А.С.* Специфика российской политической культуры и предмета политологии. М., 2002; *Штырбул А.А.* Политическая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности (конец XIX — первая треть XX в.). Омск, 2008; *Соловьёв К.* Очерки политической культуры имперской России (URL: <http://gefter.ru/archive/11650>; дата обращения: 16.05.2016).

Поиск формулы оптимального соотношения между «горизонтом ожиданий» и реальными возможностями (культурной готовностью к переменам) социума был типичен не только для России 1917 г., но и для любой государственности на пороге неизбежного слома. Об этом свидетельствует в том числе известная фраза государственного деятеля и историка викторианской Англии Т. Маколея: «Если рабы будут ждать свободы до тех пор, пока они не поумнеют, ждать придётся долго». Исторического времени на ожидание «зрелого» политико-культурного отношения масс к острейшим проблемам российской действительности в начале рокового 1917 г. уже не оставалось. По словам историка-очевидца, накануне революции провидевшего её перспективу, «Россия станет демократической республикой не потому, что выросла в своей массе до этой формы правления, а потому, что царизм в ней опозорен, и простолюдин потерял веру в святость царя»¹⁴.

Не только — а возможно, и не столько — объективные социально-экономические и военные обстоятельства следует считать причиной Великой революции. Свою разрушительную роль сыграли и трудно поддающиеся оценке политико-культурные факторы, насквозь проникнутые к тому же психопатологическими настроениями масс¹⁵. Ценностный кризис переходного в цивилизационном отношении периода «спроецировался» на ментальные и психологические области, порождая взаимное недоверие общества и власти, создавая ту атмосферу в правительственных кругах, которую современники характеризовали как «паралич воли, растерянность, потеря веры в себя»¹⁶. Неудивительно, что накануне Февраля на общий ход дел воздействовали не столько фактические призывы к свержению режима, сколько общая негативистская атмосфера по отношению к любым мероприятиям правительства, вылившаяся в итоге, по словам историка, в «социальное буйство»¹⁷.

Согласимся с исследователями, точно определившими роль личностного фактора как детонатора обострения общественно-политической ситуации накануне революции: «Российская политическая культура (читай: подданнического типа. — *Т.Ф.*) предполагает, что император должен уметь одновременно царствовать и командовать. Николай II не умел ни того, ни другого»¹⁸. В политико-культурном смысле этот момент отразил и более общую закономерность, сработавшую в той ситуации. Ведь протест против «гипертонии» авторитарно-бюрократического давления был характерен для культуры в целом — по причине гуманистического потенциала, присущего культуре как таковой. Сложнее обстоит дело с культурой политической. Носители её различных исторических типов (архаического, патерналистского, подданнического, гражданского участия и т.д.) во многом одинаково реагировали на кризис самодержавной государственности, но по-разному видели цели и способы слома старой власти, а также последующие социально-политические задачи, которые неизбежно пришлось бы решать социуму. Причём степень радикализма

¹⁴ Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления (Материалы для истории моего времени). СПб., 1998. С. 386.

¹⁵ Булдаков В.П. Указ. соч. С. 65–67.

¹⁶ Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти. Воспоминания. М., 2011. С. 57.

¹⁷ Булдаков В.П. Указ. соч. С. 351.

¹⁸ Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Указ. соч. С. 397.

и протестного потенциала отнюдь не напрямую зависела от степени «правизны», «центризма» или «левизны» этих носителей.

Подобный парадокс частично объясняется тем известным фактом, что в России культура в целом (вполне независимо от её конкретных творцов) становилась, по пресловутой формулировке Ю.М. Лотмана, «культурой взрыва», культурой революции¹⁹, не исключая при этом и её контрреволюционного компонента²⁰. На одни и те же кризисные явления представители разных политико-культурных типов стремились дать свои (часто взаимоисключающие) ответы, исходя из собственного опыта или отсутствия такового, что, разумеется, лишь добавляло кризисности и непредсказуемости внутривнутриполитической атмосфере в стране.

Критически важным для понимания специфики политико-культурной ситуации момента было то, что социальные институты, общественные слои и политические объединения, считавшиеся опорой царского трона, т.е. носители прежней, подданнической культуры самодержавного имперства, не выступили в защиту свергаемого монарха, проявив на деле апатию и пассивность. Это, бесспорно, факт, имеющий не только социально-психологическое или идейное, но и политико-культурное значение. Можно сказать, что пресловутые «тёмные силы», вызывавшие такие опасения «передового общества» и такое буйство постфевральской риторики в демократической печати, блистательно проявили синдром «неучастия» в исторических судьбах «старого режима».

Поднятая революционным потоком волна архаизации политического сознания²¹ «вымывала» собственно «политическое» из него, переводя задачи создания нового государственно-правового каркаса в привычное русло поисков «врагов»²². Впрочем, в этом Революция 1917 г. не была оригинальна. Ещё во времена Великой французской революции «всякое событие осмыслялось как результат борьбы сил добра и зла, перенесённых с небес и из преисподней в сферу текущей политики». Причём, с точки зрения носителя такого сознания, «у несчастий, выпавших на долю отечества, не может быть объективных причин вроде плохой экономической конъюнктуры или, например, неурожая, но во всём, везде и всегда виноваты конкретные люди или группы»²³.

Именно поэтому, по мнению историка Ф. Фюре, уже современники Великой французской революции «испытывали настоятельную потребность в мифологизации того, что совершалось у них на глазах». Что тем более закономерно в случае с Россией: у общества, обделённого опытом реального политического представительства и подлинного соучастия в управлении государством, но вместе с тем сугубо литературоцентричного, насквозь пропитанного философско-романтической озабоченностью «судьбами Отечества», типичным способом политического общения становится язык образов, символов и эмблем. Чего стоит, к примеру, устойчивая, если не сказать назойливая, метафора «тёмные силы», означавшая в меняющемся контексте между

¹⁹ См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.

²⁰ См.: Стайтс Р. Русская революционная культура и её место в истории культурных революций // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994.

²¹ См. подробнее: Булдаков В.П. Указ. соч.

²² Филиппова Т.А., Баратов П.Н. Враги России. Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире Первой мировой войны. М., 2014. С. 247–250.

²³ В.К. О попытках «завершить» Французскую революцию // Новый мир. 1999. № 4 (URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/4/fure.html; дата обращения: 05.05.2016).

Февралём и Октябрём (и позднее) принципиально разные объекты политических неприязней.

Репертуар революционных фобий был столь подвижен и ситуационен, что зачастую не оставлял шанса находить более рациональные маркёры идентичности для политических противников. Сам язык революции — от крика толпы до гневных взаимных филиппик лидеров — фиксировал специфику времени, когда традиционный монолог власти на фоне молчания массы («silent Muscovy») сменился в Феврале непривычным многоголосьем плохо слышащих друг друга политических сил, по-прежнему далёких от освоения едва нарождавшейся культуры диалога.

Не удивительно, что одной из важнейших задач власти после Октября стала широко понимаемая работа с языком — от завершения реформы орфографии, до преобразования *крика улицы* в молчаливое принятие нового монолога адептов «единственно верного учения». И в этом деле большевизм хорошо выучил уроки самодержавия. Исторический проигрыш последнего был ускорен фактом нарастающей культурно-информационной изоляции власти в течение предреволюционных месяцев, что точно охарактеризовал С.С. Ольденбург: «Русская власть никогда не отличалась умением саморекламы»²⁴. В России же критика если не лично императора, то правительства стала не просто «хорошим тоном», но едва ли не обязательным условием журналистской состоятельности и стилем политической культуры в целом. А между тем в эпоху Николая II фактически формировались предпосылки не только политической и социальной, но и информационно-культурной революции. Ширилось, крепло и до известной степени демократизировалось научно-образовательное сообщество²⁵, росло число грамотных людей, причём миссия расширения народной грамотности зачастую была доверена откровенным противникам императорской власти. Стремительно развивались новые виды культурной продукции, рассчитанные на массового потребителя²⁶ — уже не «барина», а вчерашнего или нынешнего «мужика».

Вопреки таким обстоятельствам, правительственная бюрократия, возлагая надежды на традиционные, не действовавшие в условиях цивилизации модерна каналы коммуникации с народом (исконные верноподданнические чувства русского «мужика», присяга и честь «барина», мистическое единение монарха и подданных в лоне православной Церкви), так и не выработала наступательные информационные стратегии, которые позволили бы в условиях военного времени наладить взаимопонимание с обществом. Не удалось это и либеральному Временному правительству, слишком рефлексивному и осторожному в своём «непредрешенчестве» и в излишне умозрительном подходе к властному менеджменту в условиях кризиса. *Логос* либеральной политической культуры явно проигрывал *стихии* охлоса, успешно преобразуемой большевизмом в новые формы контркультуры. Подобную ситуацию исследователи трактуют как ещё один парадокс — иррациональный характер культурной инволюции российского социума: «Развитие информационных технологий произвело парадоксальный эффект: мир стал в наибольшей степени руководствоваться

²⁴ Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. II. Мюнхен, 1949 [репринт: М., 1992]. С. 205.

²⁵ Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М., 1991. С. 352–353.

²⁶ Купцова И.В. Художественная интеллигенция России в годы Первой мировой войны. М., 2007. С. 217–219.

не наукой, а эмоциями, не разумом, а чувствами, не расчётом, а инстинктом. И в России “откат в прошлое” произошёл с особой силой»²⁷.

Прибавим к этому порождённые революцией трудности осмысления и вербального отражения действительности — временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов, стремительное появление и развитие особого языка символов и метафор, новое прочтение старых политических и культурных смыслов, плотный контакт массовой культуры с народной и элитарной как модель выживания в условиях кризиса, идейный разлом внутри прежде единых профессиональных и культурных корпораций, ускоренную символизацию революционных событий в сугубо утилитарных целях, ширящуюся риторику «враждебного окружения» и «заговора тёмных сил», архаичность народной «почвы» и авангардизм гипермодернизаторских установок власти... И мы получаем картину глубокой политико-культурной фрустрации, подвижности смыслов и быстрой ротации поясняющих стратегий, на фоне которых очередной революционной власти в центре и на местах приходилось утверждаться в качестве таковой.

Примечательная подробность: наблюдательные современники-иностранцы в эпоху между Февралём и Октябрём чувствовали удивительное сходство политического языка, на котором заговорили официальные документы разных политических сил (к примеру, Временного правительства и Петросовета). Прежде всего отмечались его содержательная несостоятельность и непрофессионализм форм, длинноты и многословность текстов, «бесконечное извержение напыщенных слов», превращавшее важнейшие манифесты новой власти всех оттенков в «длинный мессианистический дифирамб»²⁸. Язык революционной власти (властей) весной—летом 1917 г. точно отражал эпоху, но оказался нефункциональным для задач самоутверждения новой власти и транслирования её воли массам.

К новой авторитарности — романтизм и прагматика

Отмеченное многими исследователями бездействие «правых» — промонархических, черносотенных сил и организаций — накануне и в ходе революции, как казалось, освободило место на авансцене политического театра для утверждения либеральной теории и практики. Редкая в отечественной истории ситуация, когда Февраль 1917 г. привёл в высшие эшелоны власти такое количество деятелей либеральных убеждений, заставляет обратиться к своеобразию российского либерализма в его политико-культурном измерении, к тому стратегическому и тактическому багажу, с которым он подошёл ко времени испытания революцией.

Российский либерализм начала XX в., сохраняя определённое культурное родство с западноевропейской традицией (этика компромисса, культура диалога между властью и обществом и проч.), имел дополнительные черты, отразившиеся в своеобразных практиках. В числе таких особенностей — нежелание брать на себя всю полноту политической ответственности при стремлении избежать насилия, принуждения и навязывания в духовной сфере; «непредрешенчество» как форма антидецизионизма; культуроцентричность,

²⁷ Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Указ. соч. С. 17.

²⁸ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 268, 284.

приводившая к недооценке формальных правил политического поведения и акцентировавшая внимание на воспитании и просвещении народа, который-де сам достигнет нового уровня политической зрелости. Причудливая связь идеализма и реализма давала особенные политические результаты: от поддержки «левых» и «заигрывания с революцией» до симпатии к авторитарным политическим формам и стратегиям, особенно по части реформ «сверху»²⁹.

Перманентный политический дрейф отечественного либерализма и либералов справа налево и обратно удивлял западных наблюдателей и ослаблял единую линию политического поведения в условиях революции. Этому способствовало и сложное сосуществование в сознании российских либералов разных смыслов опеки как одного из ключевых параметров отношения интеллектуалов к русскому народу — и как предоставление шанса на реализацию жизненных возможностей, и как «прикрытие от невзгод» — читай: социальной несправедливости (лишь первый смысл соответствует классическому либеральному пониманию опеки).

Политическая культура российских либералов была проникнута напряжённой рефлексией на извечную тему почвенности и заимствования, приспособления и подражания. Свойственное либеральному мышлению представление об оптимальном уровне культуры заимствования, в своём оптимуме, равноудалённом от слепого копирования и идейной автаркии, свидетельствовало о достаточно высоком теоретическом уровне политической культуры самих российских либералов³⁰. Но оно оказалось беспомощным перед сокрушительной реальностью революционного кризиса, сместившего и европейские, и отечественные критерии оценки политических идентичностей. В результате в пространстве реальной политики революционного времени укрепилась ещё одна характерная черта отечественной либеральной традиции. *Быть* либералом в России означало *слыть* им. Эту особенность можно маркировать как проявление *репутационного* либерализма, ибо европейская «классика» либеральной идентичности не полностью «вписывалась» в российскую ситуацию, затрудняя и внутреннему, и внешнему наблюдателю задачу точного определения политико-культурных особенностей новой, постфевральской власти.

Так, этикоцентризм либеральной политической культуры в России (впрочем, и культуры в целом³¹) часто вёл к противопоставлению рациональных установок и моральных ценностей. Подобной антиномией не был отягощён западный либерализм. Этическая (если не сказать морализаторская) доминанта отечественной политической мысли и практики, ставшая идентификационным признаком российского либерализма, в чрезвычайных условиях революции изрядно затрудняла принятие рационально выверенных, прагматических решений. Неудивительно, что статолатрия — один из важнейших политико-культурных принципов российского либерализма — также подразумевала в своих основаниях этическую составляющую — «априорные указания нравственного сознания», по П. Новгородцеву. Это неизбежно порождало острую борьбу мнений по конкретным вопросам построения и функционирования

²⁹ Секиринский С.С. Либеральный идеал и российская действительность XIX века: некоторые аспекты взаимодействия // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы: Материалы международной научной конференции. М., 1999. С. 185–200.

³⁰ См.: Шелохаев В.В. Дискуссионные проблемы истории русского либерализма в новейшей отечественной литературе // Вопросы истории. 2007. № 5. С. 316.

³¹ Шелохаев В.В. Либеральный проект... С. 79.

новых государственных структур, что в промежутке между Февралём и Октябрём, когда историческое время в России критически «сгустилось», никак не добавляло стабильности новой власти. Особенно в чрезвычайных условиях: *демос революции* стремительно превращался в *охлос смуты*, если и демонстрируя при этом что-то «априорное», то чаще всего свирепую жестокость на уровне архаики домонотеистических силовых реакций.

Взаимоотношения либерализма и демократизма — как на доктринальном, так и на практическом уровнях — всегда оказывались непростыми для российских политиков, в 1917 г. особенно. Последствия освоения российскими либералами ценностей демократии были неоднозначными в разные эпохи, что хорошо понимали и сами либералы. Периоды «дрейфа» в сторону демократизма имели разную мотивацию: от сознательного этического выбора, свойственного российскому интеллигентскому этосу в целом, до вынужденных уступок духу времени и общей радикализации («полевению») политической обстановки в стране. Как бы то ни было, от успешности совмещения этих двух во многом отличных систем ценностей напрямую зависело благополучие политического присутствия российских либералов в государственной и общественной жизни революционного времени. Тактическая изменчивость и историческая контекстуальность³², склонность к апроприированию достижений смежных идеологий (к примеру, сильных консервативно-реформаторских программ «сверху» и социалистических проектов «снизу»)³³ способны были сохранять аксиологическое ядро политической культуры российского либерализма в мирных условиях, но потерпели крах с вступлением страны в «век войн и революций».

Столь же примечательным для фиксации «своеобразия текущего момента» было и подвижное отношение либералов к национальному вопросу, в ходе разработки которого их риторика причудливо обновлялась терминологически («этический национализм», «эстетический национализм», «национальная гигиена», «космонационализм» и т.д.)³⁴, демонстрируя разнообразие подходов к видению и достижению главной цели отечественных либералов — России «единой и неделимой». Однако теоретическое разнообразие и богатство мнений по актуальнейшему для революционного времени вопросу о национальном строительстве нового государства явно ослабляли политическую стратегию принятия адекватных решений в этой сфере.

Похоже, само время работало в противофазе развитию доктрины и практики либералов, неожиданно для себя пришедших в тот момент к реальной власти. Меж тем политические коллизии лета 1917 г., несостоявшиеся попытки «бонапартистских» решений³⁵ наглядно демонстрировали дрейф от традиции отечественного либерализма, растворявшейся в стихии революции, к новому «изданию» авторитаризма, готовившего почву для жёстких конструкций большевистской государственности.

³² Подробнее см.: Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. М., 1995.

³³ Секиринский С.С. Российский либерализм XIX века: формула судьбы // Россия. XXI. 2002. № 1. С. 85–87.

³⁴ Канищева Н.И., Шелохаев В.В. Российские либералы: между правыми националистами и леворадикальными пораженцами // Патриотизм и национализм как факторы российской истории. М., 2015. С. 323–353.

³⁵ Секиринский С.С. Наполеон в России: судьба легенды // Российская история. 2012. № 6. С. 143–157.

Пресловутая проблема «двоевластия» (продолжающийся спор об этом явлении как о политической реальности или идеологической метафоре³⁶) также видится в ракурсе более позднего политического опыта. Исследователи дают пример деконструкции феномена (читай: «мифа») двоевластия в революционных условиях, когда рассматривают его функцию в период обострения политической борьбы между Временным правительством и социалистами: «Со временем представления о двоевластии подхватили большевики, нуждавшиеся в “легитимации” собственного единовластия. Понятно, что устойчивость данного мифа связана с доминированием авторитарной политической культуры, отторгающей диалоговые формы взаимоотношения власти и общества»³⁷.

Как бы то ни было, и европейская *классика*, и отечественная *самобытность* либеральной политической культуры оказались в итоге не фактором (субъектом), а жертвой (объектом) революционного вихря, уже унёсшего в историческое небытие подданническую культуру традиционной монархии. Но поскольку «свято место пусто не бывает», на смену риторике «правосознания», «непредрешенчества» и «защиты революционной весны» пришли иные формы и способы интеллигентского самовыражения.

Многообразие идеологических комплексов российской интеллигенции предреволюционной поры — абстрактное народолюбие, неприятие эстетики богатства и благополучия, социалистические воззрения, согласно которым каждый предприниматель есть «плутоkrat», барственное презрение к любой экономической инициативе — всё это в целом обесценивало реальный протестный потенциал в революции данной социальной группы. Романтическое неприятие диалога с властью, ветшающее, но пока ничем не замещённое популистское клише «неправоты денег» проявлялись как отличительные свойства политико-культурного «лица» значительной части российского «образованного общества». Даже признавая новые реалии стремительно модернизирующейся страны, русский интеллигент продолжал подменять рациональную рефлексию относительно политики как «искусства возможного» возвышенными идеалами и морализирующими поучениями. И на фоне расширявшегося зазора между действительным, желаемым и возможным впадал в отмеченную современниками опасную прострацию и бездействие³⁸...

В постоктябрьское время эта общественная группа, которой, по идее, надлежало рекрутировать из своей среды политиков и управленцев нового типа, оказалась одновременно транслятором и жертвой культурной архаики русской «почвы», которая с очевидностью грубого холста проступала сквозь красочный слой революционного обновления. В лице большевизма новая власть легко, без излишней рефлексии утилизировала специфику упомянутой «почвы» и охотно брала из арсенала чужих идейно-политических ориентиров всё, необходимое ей «здесь и сейчас» для укрепления собственных позиций. Без ложных сожалений она избавлялась от оппонентов, особенно тех, кто не был готов безоговорочно принять свирепый прагматизм тактически гибких основателей «дивного, нового мира».

³⁶ См., например: Диагноз: революция. Исцелимся ли от извечного российского радикализма? // Родина. 1997. № 11. С. 11–17.

³⁷ Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Указ. соч. С. 481.

³⁸ См., например: Маклаков В.А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006. С. 282, 324, 344; Дневник императора Николая II (1894–1918). Т. 2. Ч. 2. М., 2013. С. 296; Бубнов А.Д., Пронин В.М. В Ставке Верховного Главнокомандующего. М., 2014. С. 290.

Неудивительно, что именно большевики, не скованные ни этической, ни идейной нормативностью, смогли овладеть стихией революции и направить её энергию в русло своих жёстких, но изменчивых установок и неизменно силовых тактик. Утилитарное отношение к репертуару чужих идейных ориентиров было не только закономерным, но и единственно возможным условием выживания самой власти, сформировав в итоге её принципиально новое политико-культурное «лицо». В дальнейшем — в отсутствие реально работающего народного представительства, структур многопартийности, законной оппозиции, экономической конкуренции, сильного среднего класса и общественного диалога — сама власть осуществляла право-левый дрейф. Даже уходя от революционной «классики», она неизменно использовала символичный потенциал революционного мифа³⁹.

В 1917–1918 гг. подобные приёмы и методы только начали апробироваться большевиками, но сама их идейно-политическая «беспринципность» во имя сохранения собственной власти и продвижения своего государственного проекта сработала успешно, если, конечно, измерять успех степенью неоспоримости такой власти, достигаемой любыми средствами и ценой. Всё логично, если учесть, что к власти в октябре 1917 г. пришла политическая партия, относившаяся в лице своих лидеров к проблеме политического убийства как к вопросу целесообразности, унаследовав традицию, «достойный вклад в которую внесли и полубразованный фанатик Нечаев, и рафинированный “европеец” Плеханов»⁴⁰.

К политико-культурным потерям 1917 г. следует отнести бесценную в этическом смысле, но «излишнюю» в условиях революционного противостояния культуру рефлексии и критической самооценки⁴¹ — в пользу триумфалистских настроений собственной правоты, свойственных адептам «единственно правильной» идеологии. Если что и удалось большевикам — это погасить со временем «тигель» революционного кипения в пользу кристаллизации твёрдых форм государственной власти нового типа и соответствующей ей политической культуры советского образца.

Непомерно высокая «человеческая» цена, которую заплатила Россия в XX в. за революционный эксперимент, во многом стала следствием того, что её прежняя культурная (в том числе и государственная, политическая) элита не справилась с исторической задачей актуализации ценностей, переводом смыслов традиционной аксиологии патриархального общества на язык цивилизации модерна. Жёсткие, болезненные, травмирующие действия новой власти были сколь этически преступными, столь и исторически неизбежными ответами на реальные, остро назревшие вопросы российской действительности. По справедливому суждению А. Вишневого, «при всей невероятности масштабов долговременного “красного террора”, нельзя поручиться, что “белый террор” стал бы более умеренным. Предреволюционный раскол общества был очень глубоким, белым победителям пришлось бы опираться на те же социальные слои, на которые опирались и красные, а параноики были не только у большевиков»⁴².

³⁹ См., например: *Тихонов В.В.* Историки и советская власть в 1920-е–1940-е гг.: патроны и клиенты // Вестник РГГУ. Сер.: История России. 2014. № 19. С. 200–204.

⁴⁰ *Будницкий О.В.* Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2000. С. 335.

⁴¹ См.: *Филиппова Т.А.* «Враг внутренний» — «враг внешний». Образы революции 1917 года в русской сатирической журналистике // Российская история. 2015. № 6.

⁴² *Вишневский А.* Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. С. 417.

Отечественный историк-публицист В. Бондарев сказал об итогах русской революции: «“Изнасилование” было ужасно, но “ребёнок” родился крепким». Развивая эту жутковатую метафору, добавим: «новорождённый» прожил насыщенную жизнь и – по иронии истории – покинул этот мир в семьдесят с небольшим, в соответствии со сроком жизни среднестатистического россиянина.

«Красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец – или, напротив, Зимний дворец красит собой Красное знамя? “Интернационал” ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота кремлёвским веянием влагают новый смысл в “Интернационал”?, – задавался вопросом Н. Устрялов, по горячим следам революции всматриваясь в контуры возникающей Советской России. Дистанция в 100 лет не только не «снимает» эти отнюдь не риторические вопросы, но множит новые задачи, встающие перед исследователями. И ответы на них не могут быть «окончательными».

Роль обрушения ценностной вертикали прежней власти и замены её неосакральностью большевистского образца; реальность или утопичность демократической альтернативы в российской революции; причины слабости либерального курса и краха многопартийности; конспирология «заговора» в «подтексте» большевистского переворота; спор о сути большевизма (торжество архаики над «модерном» революции или утилизация традиционной «почвы» для целей модернизации?); ответственность общества перед культурой и культуры перед обществом на переломном этапе отечественной истории... Эти и многие другие политико-культурные темы по-своему прочитываются на каждом новом историческом этапе научного осмысления революции 1917 г. Инструментарий политико-культурного анализа как познавательной стратегии расширяется по мере прирастания исторического знания, актуализируя и «вчерашие», и «сегодняшние» смыслы феномена под названием «Великая российская революция».

Революция 1917 г. в коммеморативных практиках и исторической политике советской эпохи

Виталий Тихонов

Revolution of 1917 in commemorative practices and historical policy of the Soviet era

Vitaly Tikhonov

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

В современном мире история – по-прежнему ключевой элемент этнической, политической и нередко социальной идентичности. На личностное «присвоение» прошлого давят «социальные рамки памяти» (термин М. Хальбвакса¹), т.е.

© 2017 г. В.В. Тихонов

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 15-31-12025 а(ц).

¹Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.